

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/68/12

Е. В. Тупова

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва*

Толстовские мотивы в поэме Д. Самойлова «Цыгановы»

Комментируются многочисленные отголоски прозы Льва Николаевича Толстого в поэме Давида Самойлова «Цыгановы». Этот пласт поэмы ранее отдельно не рассматривался, хотя имя Толстого возникало в работах исследователей творчества Самойлова. Ставится задача поэтапно, начиная с названия, проанализировать толстовские мотивы в поэме, дополнить отмеченные ранее другими исследователями отсылки к прозе Л. Н. Толстого и ответить на вопрос, какова их роль в художественном мире поэмы. Привлекая дневниковые и мемуарные материалы, сопоставляя тексты Самойлова и Толстого, учитывая наблюдения других исследователей, автор статьи прослеживает генезис идей, получивших в поэме «толстовскую» огласовку.

Ключевые слова: «Цыгановы», идиллия, эсхатологические мотивы, Д. Самойлов, Л. Н. Толстой, «Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина», реминисценции, хронотоп.

Контекст создания поэмы «Цыгановы»

В сочинениях Давида Самойлова тема смерти занимает важное место и последовательно проводится по крайней мере с начала 1960-х (например, в стихотворениях «Дом-музей» (1961), «Как объяснить тебе что это может стать...» (1962), «Рождение» (1963), «Оправдание Гамлета» (1963), «Выздоровление» (1965), в драме «Сухое пламя» (1962)).

Незадолго до создания «Цыгановых», 3 июня 1976 г., Самойлов записывает в дневнике: «Жизнь без событий, соответствующая моему ощущению жизни без желаний, оконченной жизни, где есть только страх: что там, за углом, за поворотом¹. Лет десять я исследую практику умирания. Поэтому моя поэзия не для молодых» [Самойлов, 2002, т. 2, с. 101].

¹ «...Что там, За углом, за поворотом» – цитата из поэмы «Старый Дон-Жуан». О ее завершении Самойлов пишет Лидии Корнеевне Чуковской в начале июня 1976 г.: «Напи-

Тупова Екатерина Владимировна – аспирант школы филологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000, Россия; katya.tupova@gmail.com)

Говоря о «жизни без событий», автор имеет в виду и собственную жизнь без решительных внутренних свершений, и общественную жизнь, протекающую на фоне социальной, политической и экономической стагнации – времени, получившего название «эпоха застоя».

В «Цыгановых» жизнь протекает на фоне сельской идиллии. Автор как будто спрашивает себя, как можно интерпретировать «отсутствие событий» и какой герой на этом фоне может явиться.

Возможно, в силу особенностей «фрагментарной» публикации² широкого отклика современников поэма не получила, однако в последнее время все более привлекает внимание исследователей. Об интертекстуальности поэмы (в частности, об отсылках к текстам Державина, Некрасова, Пушкина), ее связи с другими произведениями Самойлова, писали А. С. Немзер [2005; 2007], М. М. Гельфонд [2012], А. Э. Скворцов [2015]. Одна из важнейших особенностей поэмы, отмеченная Немзером и Гельфонд, – ее связь с буколической традицией – принципиально меняет и углубляет восприятие «Цыгановых».

Напомним содержание поэмы. В пяти главах «Цыгановых» читателю представлены сцены жизни одной крестьянской семьи: «1. Запев»; «2. Гость у Цыгановых»; «3. Рождение сына»; «4. Колка дров»; «5. Смерть Цыганова». Не содержащая, на первый взгляд, каких-либо «фантастических» элементов поэма – вариант альтернативной истории [Немзер, 2005, с. 409–411]. В мире, где живут Цыгановы, из значимых событий русского XX в. была только война, но не было коллективизации и иных социальных трагедий. Через несколько лет после публикации первых фрагментов «Цыгановых», но до завершения текста, Самойлов рисует еще более смелые картины в «Струфиане» (1974) – шуточной поэме о похищении императора Александра I инопланетянами, справедливо прочтенной современниками как пародия на «Письмо Вождям Советского Союза» А. И. Солженицына³. Было точно подмечено, что «империя, исправленная по благим намерениям Кузьмича, очень похожа на мир “Цыгановых”, любовно описываемый ровно об эту пору, на мир, чья предметная часть в общем сводится к “хомуту” и “колесу”» [Немзер, 2005, с. 416].

Развивая эти наблюдения, мы полагаем, что, оставляя мысль о своем принципиальном неприятии разного рода «социальных проектов» для «Струфиана», Самойлов в «Цыгановых» делает предположение, что идеальный мир, отчасти напоминающий тот, который предлагает построить Солженицын, мир «хомута» и «колеса», существует, и проверяет жизнеспособность героев этого мира любовью, рождением и смертью.

сал, впрочем, маленькую поэму (в сто строк) “Старый Дон-Жуан”, несколько строк которой были сочинены в Москве» [Самойлов, Чуковская, 2004, с. 38]. В следующем письме, в конце июля, Самойлов, объясняя характер своего героя, вновь использует приведенную выше цитату: «Его старость – расплата за бездуховность, за безделие, за отсутствие творчества и идеализма. Вот как я это понимаю. Он бабник, прагматик – таковы большинство из нас. И за это карает старость. Но это общая идея. А еще есть тип, который мне во многом нравится – лихой малый, дуэлянт, который Черепа испугался лишь от неожиданности. И который где-то вдруг прозревает: “А скажи мне, Череп, что там – за углом, за поворотом”» [Там же, с. 41]. Поэма «Старый Дон-Жуан», таким образом, как и «Цыгановы», встраивается в череду опытов, в которых, меняя исторические и социальные «сценарии», автор осмысливает остро тревожащее его приближение смерти.

² Поэма печаталась главами, начиная с 1971 г. «Конь взвился на дыбы, но Цыганов...» («Запев») – День поэзии. М.: Советский писатель, 1971; «Гость у Цыгановых» – День поэзии. М.: Сов. писатель, 1972; «Колка дров» – Аврора. 1974. № 3; «Рождение сына», «Смерть Цыганова» – Октябрь. 1977. № 9; полностью – Весть: Стихи. М.: Сов. писатель, 1978.

³ Подробнее об этом см. [Тупова, 2017].

Смысл названия

Первый сигнал читателю – название. Перед нами имя собственное (фамилия), произведенное от названия этнической группы. Чтобы изобразить «овеществленную в процессе» альтернативную историю в ее полноте, Самойлов выбирает семью, человека в семье. «История одной семьи – это очень много. Не просто отдельный человек, а именно человек в семейном окружении, то есть в самом малом дроблении среды, и есть истинная плоть истории, овеществление процесса» [Самойлов, 2014, с. 96], – писал Самойлов в мемуарной книге, получившей название «Памятные записки».

Выбор фамилии героев, по всей видимости, определен несколькими причинами: фамилия, прежде всего, связана с детскими впечатлениями. «В подмосковном Шульгино, где прошли детство и отрочество Самойлова, где треть крестьян этой большой деревни носили фамилию Цыгановы, он узнал быт и интересы русского крестьянства, оценил “эпический труд” крестьянской семьи» [Горелик, Елисеев, 2009, с. 283]. В «Памятных записках», описывая Шульгино, Самойлов вспоминает купание коня, необыкновенно вкусную и красивую еду, запахи и звуки природного мира – эти элементы перешли и в поэму о крестьянской семье. Мемуарный очерк «Шульгино» был создан позже, чем поэма, в известной мере – как авторский комментарий к ней; опубликован он был лишь посмертно, в 1993 г. в № 10 журнала «Дружба народов». В «Памятных записках» автор дает понять читателю, что воссоздаваемого им мира больше нет и что даже во время описываемых событий реальность не обладала сама по себе идеальными свойствами, но лишь отзывалась на сверхчувствительное к красоте восприятие ребенка: «Я был типичный дачник, городской мальчик, жадно впитавший деревенские впечатления и любивший деревню, как может любить ее горожанин, то есть любовью одержимой, возвышенной и поэтической. В те годы крестьяне работали еще всей семьей от зари до зари. Труд их был тяжел и неблагодарен. Мне странно читать сейчас о веселой жизни счастливых поселян, о которой почти открыто сожалеют наши новые народолюбцы» [Самойлов, 2014, с. 93].

Такое условие «социальной утопии», как идеальное ее восприятие, не проговаривается в поэме напрямую, однако, на наш взгляд, вполне осознается и дано в подтексте. Озаглавив поэму «Цыгановы», Самойлов добивается того, что читатель отмечает созвучие названия пушкинской поэме «Цыганы» и наследующей ей повести Толстого «Казачи». В результате история жизни героя читается в диалоге с текстами Пушкина и Толстого (а также в споре с идеями Руссо, которому в упомянутых текстах отдали должное оба писателя [Лотман, Минц, 1996]).

Итак, название «Цыгановы» – это и личный (только автору принадлежащий) ключ к «земному» раю, и в то же время указание на литературные координаты, следуя по которым читатель может восстановить комплекс чувств и мыслей, создающих наряду с материальной реальностью мир «полубогов».

В «Цыганах» и «Казачах» авторы сначала последовательно поэтически представляют свои концепции идеального общества в картинах повседневной жизни, а затем сталкивают с ними героев, обнажая не только их несоответствие миру идиллии, но и уязвимость любого общественного устройства, уязвимость перед внешним вторжением, перед лицом любви и смерти. Это роковые силы, внешние для любого устойчивого мира. Похожим, но не аналогичным образом построены и «Цыгановы». Все герои поэмы – плоть от плоти крестьянского мира, в котором они живут, а значит, проблема чужого здесь редуцирована (или скрыта). На первый план выходит вопрос о рождении и смерти.

Рождение и смерть в мире «Цыгановых»

Самая узнаваемая из литературных реминисценций в «Цыгановых» заостряет проблематику умирания: это ситуация внезапной болезни, которая подталкивает героя к раздумьям о смысле жизни. Как было замечено Скворцовым, рефлексии Цыганова имеют близкий литературный аналог – «Смерть Ивана Ильича»: «В некоторых фрагментах внутреннего монолога героя Толстого можно увидеть даже текстуальные совпадения с пятой главой поэмы – от серии экзистенциальных вопросов “зачем?” до мысли об отсутствии Творца, выраженной в финале женой героя» [Скворцов, 2015, с. 222]. Исследователь обращает внимание на то, что жизнь Ивана Ильича показана Толстым как несправедная, в то время как жизнь Цыганова «изображается Самойловым как почти безупречная» [Там же]. Скворцов приходит к выводу о том, что на самом деле Самойлов отрицательно относится к жизни Цыганова, и поэму стоит читать не как «новейший эпос в гесиодовом ключе, а, скорее, “Смерть Ивана Ильича” в декорациях “Старосветских помещиков”. Это трагедия внешне здоровых и житейски безупречных, но внутренне полных людей, не задумывавшихся о собственной духовной неполноценности» [Там же, с. 226]. Соглашаясь с тем, что аллюзия на текст Толстого подталкивает читателя сравнить жизнь Ивана Ильича и Цыганова, мы не можем присоединиться к финальному выводу исследователя. Чтобы лучше понять значение отсылки в главе «5. Смерть Цыганова», обратим внимание на эпизод в главе «3. Рождение сына»:

Тут он увидел сына. Он не знал,
Что так младенец немощен и мал.
Он только понял, что за это тело
Он всё бы отдал, чем душа владела,
И то свершил, чего не совершал.
Но вдруг ребёнок сморщил свой носишко
И раз чихнул.
– Чихать умеет, вишь-ко, –
Промолвил с уважением отец
[Самойлов, 2005, с. 104]⁴.

Этот отрывок напоминает эпизод «Анны Карениной», в котором Левин видит своего ребенка. Чих новорожденного также удивляет и умиляет его:

Посмотри теперь, – сказала Кити, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его. Личико старческое вдруг еще более сморщилось, и ребенок чихнул.

Улыбаясь и едва удерживая слезы умиления, Левин поцеловал жену и вышел из темной комнаты.

Что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве; напротив, это был новый мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время, страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которое он испытал, когда ребенок чихнул [Толстой, 1935, т. 19, с. 296–297].

Жалость к ребенку, страх за него, о которых прямо говорит Толстой, сохранены Самойловым, но показаны более емко. Если первое чувство, испытанное Ле-

⁴ Далее ссылки на это издание делаются в круглых скобках с указанием страниц.

виним, было гадливостью, затем пришла жалость, и, только после того как ребенок чихнул, – умиление, то Цыганов гадливости не испытывает. Это отсутствие значимо: Самойлов, описывая рождение и смерть, опираясь на очень разные толстовские сюжеты, меняет, «очищает» их. Цыганов, так же как и герои Толстого, уязвим для «проклятых» вопросов, которые усложняют как встречу с новой жизнью, так и расставание со своей. Но, постигая мир одновременно чувственно, интеллектуально и духовно, Цыганов находит ответ на вопрос о смысле своей жизни, который не могут обнаружить толстовские герои. Сравнивая жизни Цыганова, Ивана Ильича и Левина, читатель может сделать вывод, что универсальны внешние события – семья, рождение детей, работа, общение с другими людьми. Различно содержание. Пустота и тщеславие в жизни Ивана Ильича противопоставляются сопричастности миру природы, удовольствию труда и общения в жизни Цыганова. Жалость, любовь к близким и стремление к правде сближают столь разных Цыганова и Левина.

Ставя Цыганова в ситуацию неясной болезни, напоминающей ту, в которую Толстой помещает Ивана Ильича, Самойлов не обесценивает гармоничную крестьянскую жизнь, а, напротив, показывает, что она может пройти толстовский экзамен.

Существует еще одно важное пересечение, влияющее на организацию всей поэмы и связанное с темой смерти, – с «Тремя смертями», где Толстым рассказаны истории ухода барыни, мужика и дерева. В первой истории Толстой разоблачает привязанность к земной жизни, фальшивое отношение к смерти. С большим сочувствием рассказано о судьбе мужика, в смерти которого нет лжи. Третья смерть, смерть дерева, сюжетно и символически связана со второй. Кухарка видит сон, в котором умерший в ту ночь Федор рубит дрова:

– Чудно что-то я нынче во сне видела, – говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. – Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя [Толстой, 1935, т. 5, с. 59–60].

В финале дерево срубают для того, чтобы оно стало крестом на могиле Федора. При этом только в сцене рубки дерева Толстой описывает собственно расставание с жизнью:

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли [Там же, с. 64–65].

Сравним, как автор представляет две других смерти. Уход барыни:

– Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома [Там же, с. 63].

Смерть ямщика:

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно [Толстой, 1935, т. 5, с. 58].

Давая взгляд на смерть «изнутри» дерева, автор утверждает мысль о безличности смерти, о ее сверхсознательной природе, универсальности.

Символическая связь колки дров с мыслями о прохождении земного пути и о грядущей смерти отчетливо звучит у Самойлова в главе «4. Колка дров». Образы, возникающие при описании, подобраны так, что читатель может восстановить материальное и духовное наполнение жизни героя:

Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвёл он
И молнию, и грозовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя вносило
К деревьям – густолистным облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям – облакам тёмно-зелёным,
К их шумным и могучим сквознякам
(с. 105).

«Детский всхлип» и «вскрик разбойный» одновременно напоминают о событиях предыдущей главы, в которой Цыганов стал отцом, а также обращают внимание читателя на цикличность времени и заставляют задуматься о его быстротечности.

Строки о том, как Цыганов «любил, чтоб звук был полон», перекликаются со следующими далее характеристиками его мышления («Был истым тугодумом Цыганов, / И мысль не споро прилежала к речи»). Глухота Цыганова сочетается с его любовью к полноте звука, музыкальностью, позволяющей уловить «равновеличье» отзвука, доносящегося от реки. Также и «истовое тугодумие» героя неоднозначно – это не только медлительность, но и особенная тщательность, с которой для мысли подбираются слова.

Следующий за эпизодом анекдот (строющийся вокруг темы смерти!) предсказывает финал поэмы, где Цыганов тяжело движется к осознанию собственного конца. Напряжение от попытки понять «соль анекдота» разряжается пониманием и смехом, аналогично тому, как в последней главе думы о цели бытия венчаются обретением смысла в красоте – обретением, за которым и следует сама смерть. После ухода героя, как в «Трёх смертях» после гибели дерева, возникает картина занимающегося утра.

В «Трёх смертях»:

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, шепетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шепта-

лись в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом [Толстой, 1935, т. 5, с. 60].

В «Цыгановых»:

... Когда под утро умер Цыганов,
Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов;
И ветер вдруг в свои ударил бубны,
И клёны были сумрачны и трубны.
Вскричал петух. Пастух погнал коров.
И поднялась заря из-за яров –
И разлился по белу свету свет
(с. 108).

Уход Цыганова природа встречает так же, как в «Трёх Смертях» – гибель дерева. Это сходство ярче обнаруживает контраст между концепцией крестьянской жизни в двух произведениях. Да, смерть крестьянина у Толстого и Самойлова символически связана с колкой дров. Но в «Трёх смертях» это сон о колке дров, в котором герой и ведёт себя по законам сна, отрицая свое нездоровье. А в «Цыгановых» это сцена из реальной жизни, в которой подготавливается осознанное принятие смерти. Не утрачивая связи с естественным миром, Цыганов наделяется способностью к рефлексии, ясности, осознанному проживанию реальности, которой не обладает крестьянин у Толстого. Тугодумие, направленное духовное и интеллектуальное усилие, помогает Цыганову преодолеть состояние сомнения в осмысленности бытия, наступившее его перед концом, но оно же, по всей видимости, сделало возможным и само появление этих вопросов. Таким образом, неясность, сомнения, наступающие человека перед смертью, не являются здесь последствием неправильной жизни, а одним из жизненных этапов, одним из «поленьев», которое должен перерубить Цыганов, чтобы закончить свою земную работу. Обращение Цыганова к вопросу смерти усложняет звучание поэмы и выводит ее за пределы идиллии. Согласно Бахтину, идиллию характеризуют такие признаки, как «органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее событий к месту», в частности родному краю, «строгая ограниченность ее только основными многочисленными реальностями жизни», такими как еда, сон, рождение, смерть, и «третья особенность, тесно связанная с первой, – сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни». Идиллия не знает быта, потому что быт и составляет самую главную ее часть [Бахтин, 1975, с. 377–384].

Как замечает М. М. Гельфонд, «“идилличность Цыгановых” столь очевидна, что нарушение законов утопического эпоса становится видимым не сразу» [2012, с. 169]. Самое яркое отступление от канона – сомнения Цыганова о смысле прожитой жизни. Еще одно, менее яркое, но не менее важное, встречаем в главе «2. Гость у Цыгановых». Рассказ о праздничном застолье, основная часть которого вызывает множество литературных ассоциаций (от Державина и Филимонова до Гоголя и Заболоцкого [Немзер, 2005, с. 402; Гельфонд, 2012; Скворцов, 2015, с. 218–219]), заканчивается неожиданной нотой:

Окно открыли. Двое пацанов
Соседских с боем бились на кулачки.
По яблоку им кинул Цыганов,
Прищыкнув: – Натё вот и не варначьте! –
Тут наконец хозяйка рядом с мужем
Присела. Байки слушала она
Мужские – кто где ранен, где контужен.
Но снова два соседских пацана

Затеяли возню...
Уже смеркалось.
Тележным осям осень откликалась.
Но в каждом звуке зрела тишина.
Гость чокнулся с хозяйкой: – Будь здорова!
– Будь! – крикнул Цыганов.
А Цыганова
Печально отвернулась от окна.
(с. 102)

Печаль, которую испытывает Цыганова, может, с одной стороны, быть мотивирована чуждостью ей мужских разговоров, чувством одиночества, но может быть и намеком на бездетность героини в этот период. Второе предположение, не отменяющее, однако, и первого, кажется еще более вероятным на фоне частого сочетания в идиллии двух компонентов – детей и еды⁵. В любом случае финал главы добавляет в образ героини неожиданный штрих, намекает на разлад с жизненным циклом, возможно, запаздывание («Но в каждом звуке зрела тишина»). Но тема бездетности не развивается, и в следующей главе мы уже узнаем о рождении сына Цыгановых. Жизненные процессы, таким образом, идут своим чередом, но они не всегда, как в традиционной идиллии, синхронны с ожиданиями и чаяниями героев.

Смысл жизни и Бог в мире «Цыгановых»

Красота плавного движения простой жизни, как будто и не замечающей тяжести решаемых ею задач и поднимаемых проблем, была предметом постоянного восхищения Толстого в зрелые годы, но еще до известного поворота рубежа 1870–1880-х гг. отразилась в «Идиллии» и «Тихоне и Маланье», создававшихся одновременно с «Казаками» (по замыслу, видимо, эти тексты были частью одного целого⁶). Сложно сказать, повлияли ли на оптику Самойлова незаконченные тексты Толстого, но так же, как и Толстой в «Тихоне и Маланье», Самойлов считает важным изобразить крестьянский праздник, передать практические застольные разговоры («про холсты, про гумно, про стадо, про соседа, про прохожих солдат» [Толстой, 1935, т. 7, с. 90]), подчеркнуть такие особенности супружеских отношений в крестьянской семье, как простота, прямота и честность. Герои не хотят обмануть, выглядеть лучше, чем они есть, они не напуганы и не смущены (мотивы, нередко встречающиеся там, где Толстой пишет о семьях дворянских).

Неизвестно, читал ли Самойлов поэтический набросок Толстого, предшествующий написанию повести «Казаки» («Эй, Марьяна, брось работу!» (1853)),

⁵ Бахтин отмечал: «Типично для идиллии соседство еды и детей (даже в “Вертере” – идиллическая картина кормления детей Лоттой); это соседство проникнуто началом роста и обновления жизни» [Бахтин, 1975, с. 376]. Такое соседство присутствует, например, в «Овсяном киселе» Жуковского, автора, весьма значимого для Самойлова (см. [Немзер, 2013, с. 860–880]).

⁶ «Тихона и Маланью» принято считать началом более пространной редакции «Идиллии». Если история в «Идиллии», судя по всему, рассказана и завершается прощением Маланьи мужем после увлечения, то в «Тихоне и Маланье» написан только праздник и приезд Тихона (мужа Маланьи) со станции в деревню на побывку. Описания увлечения и неверности в этой версии нет, хотя можно предположить, что сюжет с Андрюшкой был бы продолжен [Толстой, 1935, т. 7, с. 350–351]. В этой связи интересно предположение, высказанное А. С. Немзером [2008, с. 490], о том, что поэма дает возможность прочесть последние строки главы «Гость у Цыгановых» как «рефлекс скрытой любовной драмы». Даже если он не был намеренно введен автором, то, оставляя здесь вариативность прочтения, Самойлов добавляет поэме сходство с наброском «Тихона и Маланьи».

в котором описывается, как Марьяна узнает о смерти Куприяшки, своего «побочина» [Толстой, 1935, т. 1, с. 300–301]. Как заметил В. Б. Шкловский [1973, с. 112], в этом отрывке у Толстого нет героя со стороны. Описывая цельный крестьянский мир, автор обращается к несвойственной ему поэтической форме. Текст Толстого построен на контрасте: основную его часть занимает описание наряда Марьяны и ее радостного ожидания и лишь небольшую, завершающую, – диалог, из которого героиня узнает о беде. В главе «Гость у Цыганова» при обращении Цыганова к жене несколько раз повторяется повелительная конструкция с восклицательным знаком («– Встречай, хозяйка! – крикнул Цыганов»; «– Хозяйка, выпей! – крикнул Цыганов»), созвучная началу толстовского стихотворения. Если предположить, что Самойлов имел в виду связь с «Тихоном и Маланьей» и «Эй, Марьяна, брось работу!», то по-новому прочитывается линия отношений Цыганова и его жены. От главы к главе мы видим, что повелительные интонации сменяются утвердительными и вопросительными, любовь, проходя через время, через праздники и работу, обретает духовную глубину, которая и объясняет обращение героини, вслед за мужем, к вопросу о существовании Бога. Слова Цыгановой («– Жалко, Бога нет») многозначны. Они заставляют нас и вспомнить финал «Цыган» («И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет»), и вернуться к ассоциативному ряду, порожденному названием поэмы (ряд разрушенных идиллий).

Оказавшись в сильной позиции, завершая поэму, эти строки вновь заставляют вспомнить о печали Цыгановой в конце второй главы. Они возвращают нас в промежуток безответной растерянности, сродни той, перед которой оказался на пороге смерти Цыганов. Почему автор оставляет нас на этой ноте, почему усиливает ощущения хрупкости идиллии?

Развивая начатое Немзером [2005, с. 416] сопоставление «Цыгановых» с поэмой «Цыганы», можно сказать, что Самойлов, как и Пушкин, показывает людей, живущих в согласии с природой. Это согласие основано на межличностных («горизонтальных») отношениях, не подразумевающих социальной регламентации (общественной «вертикали»). Здесь нет «закона», насилия сильного над слабым. В то же время Самойлов по-своему разворачивает мысль о тех внутренних, не заданных извне условиях, которые делают возможным существование такого общества. Идиллия подразумевает равенство людей перед лицом надмирных сил. В мире поэмы Пушкина проверкой на причастность к идиллии становится любовь, в мире поэмы Самойлова – смерть. Алеко стремится к «воле», наслаждается ею, принимая «волю для себя», не может признать права на волю для Земфиры. Внутри мира идиллии каждый волен любить и каждый свободен уйти. Существование вне мира закона требует отказа от кары за нарушение общественных правил. Цена существования вне насилия закона, обеспечивающая равновесие мира, – добровольный отказ от права «вершить закон» – оказывается слишком высока для Алеко. Старый цыган, тоже жертва несчастной любви, принимает выпавший ему жребий, не посягая на свободу женщины, это и отличает его, человека внутри идиллии, от человека «вне ее мира».

В финале поэмы «Цыгановы» читатель произвольно задается вопросом: каким станет мир семьи после смерти мужа? Слова Цыгановой показывают нам горе и несогласие с внезапностью смерти и воспринимаются в контрасте с предсмертными размышлениями самого Цыганова – человека, через чей способ восприятия мира и дана семейная история.

В общем дневнике за 1977 г. Самойлов оставил две записи, из которых становится понятно, что вопрос о существовании Бога для него был тесно связан с вопросом о смысле жизни, ее подчиненности (или неподчиненности) высшей причине:

Все практические объяснения – труд, творчество, деторождение и пр. – упираются в ответ о бессмысленности бытия. Бог – рабочая гипотеза о смысле

жизни. Но, с другой стороны – божественное начало опять-таки признание непознаваемости смысла жизни. Опять мы не знаем, для чего живем. Только предполагая (16 мая).

Если есть случайность, нет бога. Видимость необходимости всегда есть. Если пьяный шофер наехал на меня, без всякой моей вины и даже въехав на тротуар, то можно объяснить, что накануне он имел неприятность, оттого напился и совершил наезд. Однако, если необходимость гибели меня-духа зависит от такого рода цепи событий, то необходимость эта мнимая. Значит цепь событий, независимых от жизни моего духа, может прервать его земное существование и насильственно перевести в другую ипостась. Что же это такое? Ну а смерть, естественная, намного ли она отличается от пьяного наезда? (2 июля) [Самойлов, 2002, т. 2, с. 288].

Таким образом, в «Цыгановых» Самойлов указывает на место Бога через его отсутствие для Цыгановой в момент смерти мужа: Бог равен проживаемому смыслу. Там, где нет смысла, там нет Бога. Идиллия держится не на внешних основаниях, а на внутренней гармонии с переживаемым смыслом.

Принятие мира в поэме

Подведем итоги. В «Цыгановых» автор пытается представить мир, приближенный к идиллии, но, что важнее и сложнее, душу и сознание взрослого человека, проходящего через жизнь в состоянии гармонии и принятия мира. Толстовские мотивы работают на нескольких уровнях, помогая воплощению авторского замысла.

Улавливая (возможно, иногда и бессознательно) отголоски прозы Толстого, читатель приближается к авторскому чувству уважения и восхищения жизнью «без событий», одновременно открывая для себя отношение Самойлова к созданному им идеальному миру.

Однако особенно ярко толстовский контекст проступает там, где речь заходит о смерти, рождении и любви – экзаменах, которые не исчезнут в мире, устроенном гармонично и справедливо. Актуализируя в читательской памяти встречу Ивана Ильича со смертью, Самойлов указывает отнюдь не на сходство Цыганова с героем Толстого, а на его отличие. Сцена с сыном, в которой крестьянин неожиданно оказывается сопоставлен с Левиным, а также ряд значимых переключек поэмы с «Тремя смертями» показывают, что характер и мировоззрение Цыганова мыслились Самойловым как идеальный синтез природного и духовного.

Обретение смысла в переменчивой красоте противопоставлено поэтом историям смертей толстовских героев, которые либо вовсе не обрели смысл, либо нашли его, но как нечто противоположное, а не равное их жизни. То, что именно красота (а не Бог, долг, необходимость, сын) и есть ответ Цыганова на вопрос о скоротечности земного, свидетельствует о его равенстве самому себе, постоянно красоту переживавшему.

Список литературы

- Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Горелик П., Елисеев Н. Борис Слуцкий и Давид Самойлов // По течению и против течения...: Борис Слуцкий: жизнь и творчество. М., 2009. С. 275–289.
Гельфонд М. М. Идиллическое и элегическое в поэзии Давида Самойлова: «Цыгановы» и «Пярнуские элегии» // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Таллин, 2012. Т. 12. С. 166–175.
Лотман Ю. М., Минц З. Г. «Человек природы» в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 599–653.

Немзер А. С. Поэмы Давида Самойлова // Самойлов Д. Поэмы. М., 2005. С. 355–464.

Немзер А. С. Пушкин в стихотворении «Ночной Гость» // Пушкинские чтения в Тарту 4. Пушкинская эпоха: проблемы рефлексии и комментария: Материалы междунар. конф. Тарту, 2007. С. 152–190.

Немзер А. С. Дневник читателя: русская литература в 2007 году. М., 2008.

Немзер А. С. Из «Тютчевьяны» Давида Самойлова // Статьи на случай: Сборник к 50-летию Р. Г. Лейбова. 2013. URL: http://www.ruthenia.ru/leibov_50/Nemzer.pdf (дата обращения 04.04.2018).

Самойлов Д. С. Памятные записки. М., 2014.

Самойлов Д. С. Поденные записки: В 2 т. М., 2002.

Самойлов Д. С. Поэмы. М., 2005.

Самойлов Д. С., Чуковская Л. К. Переписка: 1971–1990. М., 2004.

Скворцов А. Э. «Цыгановы» Давида Самойлова: генезис и семантика // Учен. зап. Казан. ун-та. 2015. Т. 157, кн. 2. С. 215–228.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 1, 5, 7, 19.

Тупова Е. В. Полемическое переосмысление сочинений Л. Н. Толстого и А. И. Солженицына в поэме Давида Самойлова «Струфиан» // Вестник Том. гос. ун-та. 2017. № 414. С. 29–33.

Шкловский В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1973. Т. 2.

E. V. Tupova

*National Research University "Higher School of Economics"
Moscow, Russian Federation, katya.tupova@gmail.com*

**The reception and elaboration of Tolstoy's Plot motifs
in the poem "The Tsyganovs" by David Samoylov**

David Samoylov in the poem "The Tsyganovs" refers to the idyllic topos and comprehensively changes it, undermining the reliability of social utopia by questioning (through the inner voices of Tsyganov) the sense of all its elements: work, family and love. The tragic uncertainty in which we find Tsyganov in the last part of the poem, as it was noted by scholars, reminds the plot of "The death of Ivan Ilyich" by Leo Tolstoy. We invite the reader to a closer look into Tolstoy's motifs in the poem.

Using Samoylov's memoirs and diaries, adding the literature and biographic context, we show different aspects of the dialog between poet and writer. This side of "The Tsyganovs" was not in the focus of researchers previously. Broadening and correcting a common interpretation of the correspondence between the episode of death of Tsyganov and the "The death of Ivan Ilyich", we comment other references: the birth of Tsyganov's son corresponds to the episodes of Levin's son birth in "Anna Karenina"; the motif of chopping wood reminds several scenes of "Three deaths". We assume that Samoylov reconstructs the ideal peasant world, using references to "Cossacks," "Anna Karenina," "The death of Ivan Ilyich," "Idyll," "Tikhon and Malanya" and enters into a polemic dialogue about the sense and content of simple happy life.

Keywords: "The Tsyganovs," idyll, eschatological motifs, D. Samoilov, L. N. Tolstoy, "The death of Ivan Ilyich," "Anna Karenina," reminiscences, chronotope.

DOI 10.17223/18137083/68/12

References

Bahtin M. M. *Voprosy literatury i estetiki* [Issues of literature and aesthetics]. Moscow, 1975.

Gel'fond M. M. *Idillicheskiye i elegicheskiye v poezii Davida Samoylova: "Tsyganovy" i "Pyarnuskiye elegii"* [The idyllic and elegiac in the poetry of David Samoilov: "Gypsies" and

- “Pärnu elegies”]. In: *Baltiyskiy arkhiv: Russkaya kul'tura v Pribaltike. T. 12* [Baltic archive: Russian culture in the Baltic States. Vol. 12]. Tallin, 2012, pp. 166–175.
- Gorelik P., Eliseyev N. Boris Slutskiy i David Samoylov [Boris Slutskiy and David Samoylov]. In: *Po techen'yu i protiv techen'ya...: Boris Slutskiy: zhizn' i tvorchestvo* [Downstream and upstream...: Boris Slutskiy: life and work]. Moscow, 2009, pp. 275–289.
- Lotman Yu. M., Mints Z. G. “Chelovek prirody” v russkoy literature 19 veka i “tsyganskaya tema” u Bloka [“The man of nature” in Russian literature of the 19th century and Blok’s “Gypsy theme”]. In: Lotman Yu. M. *O poetakh i poezii* [On poets and poetry]. St. Petersburg, 1996, pp. 599–653.
- Nemzer A. S. Poemy Davida Samoylova [Poems by David Samoilov]. In: Samoylov D. *Poemy* [Poems]. Moscow, 2005, pp. 355–464.
- Nemzer A. S. Pushkin v stikhotvorenii “Nochnoy Gost” [Pushkin in a poem by David Samoylov “The night guest”]. In: *Pushkinskiye chteniya v Tartu 4. Pushkinskaya epokha: problemy refleksii i kommentariya: Materialy mezhdunar. konf.* [Pushkin’s readings in Tartu 4: the Pushkin’s epoch: problems of reflection and review: Proc. of the intern. conf.]. Tartu, 2007, pp. 152–190.
- Nemzer A. S. *Dnevnik chitatelya: russkaya literatura v 2007 godu* [Reader’s diary: Russian literature in 2007]. Moscow, 2008.
- Nemzer A. S. Iz “Tyutcheviana” Davida Samoylova [From “Tyutcheviana” by David Samoylov]. In: *Stat'i na sluchay: Sbornik k 50-letiyu R. G. Leybova* [Articles in case: Collection for the 50th anniversary of R. G. Leibov]. 2013. URL: http://www.ruthenia.ru/leibov_50/Nem-zer.pdf (accessed: 04.04.2018).
- Samoylov D. S. *Pamyatnyye zapiski* [Memoirs]. Moscow, 2014.
- Samoylov D. S. *Podennyye zapisi: V 2 t.* [Daily records: in 2 vols]. Moscow, 2002.
- Samoylov D. S. *Poemy*. [Poems]. Moscow, 2005.
- Samoylov D. S., Chukovskaya L. K. *Perepiska: 1971–1990* [Correspondence: 1971–1990]. Moscow, 2004.
- Shklovskiy V. *Sobr. Soch.: v 3 t. t. 2* [Collected works: in 2 vol. Vol. 2]. Moscow, 1973.
- Skvortsov A. E. “Tsyganovy” Davida Samoylova: genezis i semantika “Tsyganovy” by David Samoylov: genesis and semantics]. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki* [Proceedings of Kazan University. Humanities Series]. 2015, vol. 157, no. 2, pp. 215–228.
- Tolstoy L. N. *Poln. sobr. soch.: V 90 t.* [Complete works: in 90 vols]. Moscow, 1935, vols. 1, 5, 7, 19.
- Tupova E. V. Polemicheskoye pereosmysleniye sochineniy L. N. Tolstogo i A. I. Solzhenitsyna v poeme Davida Samoylova “Strufian” [Polemic rethinking of works by L. N. Tolstoy and A. I. Solzhenitsyn in David Samoylov’s poem “Strufian”]. *Tomsk State University Journal*. 2017, no. 414, pp. 29–33.